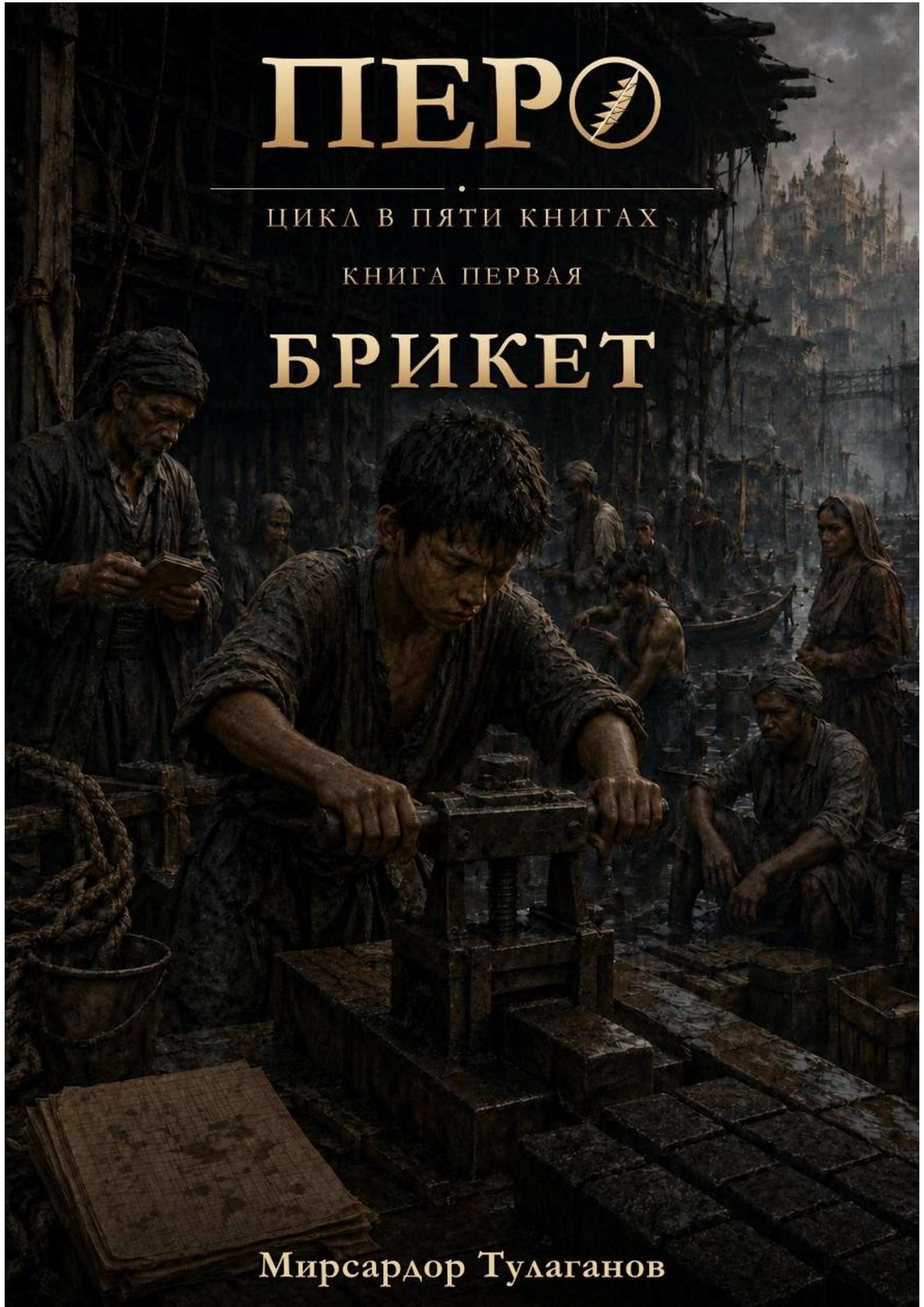




# ПЕРО

ЦИКЛ В ПЯТИ КНИГАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

# БРИКЕТ

Мирсардор Тулаганов

Мирсардор Тулаганов

**Перо. Книга 1. Брикет**

«Автор»

2026

**Тулаганов М. А.**

Перо. Книга 1. Брикет / М. А. Тулаганов — «Автор», 2026

Его звали Брикетом – серый, плотный, выжатый досуха. По бумаге мальчишки с торфяных плотов не существует, а значит, его можно отписать куда угодно, и никто не спросит, куда он делся. В Вельмаре человека делает не рождение, а строка в реестре: кто вписан – тот есть, кого вычеркнули – того и не было. Наверху, в сухом Досмаре, куда не доходит вода, сидит Перо – безликое имя, которым пугают даже хозяев. Тит не знает букв, зато умеет считать: чужие долги, чужой страх, чужие недовесы. С этого счёта и начинается подъём – кольцо за кольцом, строка за строкой, к тяжёлой чёрной печати, один оттиск которой решает, кому жить, а кого свести под воду. Первая книга цикла «Перо» – о дне, о лестнице наверх и о том, чем платят за право самому вести перо.

© Тулаганов М. А., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая. Жертва              | 5  |
| Глава первая. Сушильня            | 5  |
| Глава вторая. Нисин день          | 10 |
| Глава третья. Хлеб и слово        | 13 |
| Глава четвёртая. Дальний край     | 17 |
| Глава пятая. Имя                  | 21 |
| Глава шестая. Печать              | 24 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

# Мирсардор Тулаганов

## Перо. Книга 1. Брикет

### Часть первая. Жертва

#### Глава первая. Сушильня

Его звали Брикетом. Серый, плотный, выжатый досуха — кличка пристала к нему вместе с торфяной пылью. Титом его не звал никто. Безотчим — тем более.

По утрам Жмых шёл вдоль настила от старших, спавших у дальнего края, к подросткам на отжимках. Одного окликал, другого пинал сапогом. Под Тита он подсовывал край лопаты и сдвигал, будто товар, лёгший не на своё место.

— Вставай, отжимка. Торф ждать не станет.

Лопата холодила бок сквозь рубаху. Тит садился, оглядывал серое утро и лишь потом поднимался со штабеля под навесом. За ночь брикеты отдавали телу остаток дневного тепла сушильни и вытягивали его собственное; к рассвету человек и торф становились одной сухой породой. Рёбра ныли там, где пришлось на острые грани, но Тит не называл это болью. Таково место, на котором спишь.

Раньше Жмыха Тита будила вода. Сквозь дыру в дранке капало в бочку — всю ночь, через равные доли времени: тук да тук. За годы он выучил этот счёт и просыпался за каплю до старшего, зная по числу ударов, скоро ли свет. Сегодня их было меньше: дождя не было, торф не отсырел, мять его будет тяжелее, а за плохо размятый Жмых спросит строже. Тит знал это прежде, чем открыл глаза, и лежал до самой лопаты.

Когда он сходил с настила, дальний рукав Ирмы стоял высоко и чёрно, держа на себе плоты, лачуги и людей. Мостки скрипели под ногой. Сваи обросли слизью до отметины половодья: ниже она была старой, бурой, выше — свежей, зелёной. По этой границе Тит узнавал уровень воды, не глядя на реку. Под плотами хлюпало; сквозь кислый запах сырого рыжего торфа тянуло тиной и чем-то стылым, чему он не знал имени и звал про себя водяным духом.

За краем, где слобода кончалась гнилью и водой, лежал туман, а в нём — Аргван. Тит не видел от города ни кровли, ни огня, только слышал имя. На плотях его произносили вполголоса, как название болезни, способной услышать и припомнить.

Однажды оттуда пришла простая, не казённая лодка под рваным навесом. Незнакомые люди сидели в ней тесно и тихо; из узла на коленях одного торчал обитый медью угол сундучка. Лодка не пристала, прошла мимо помоста, дальше, в гнилой край, где слобода тонула. Жмых вышел из-под навеса и долго смотрел ей вслед, заслонившись рукой.

— Досмарские, — сказал он не Титу, а так, в туман. — Сверху едут. Вниз едут.

Людей в лодке везли как товар, и не туда, куда они хотели. Суконная одежда была цела, лишь измята многими ночами, — не слободская. Старик держал поверх узла белые, нерабочие руки. Тит сравнил их со своими, отвернулся и пошёл к станку. О лодке больше не думал, но руки приберёг: бывает, что и сверху падают, мимо помоста, в гнилой край. Снизу вверх не падал никто.

Сушильня стояла на сваях выше лачуг: хозяин берёт товар лучше людей. Намокший торф пропадал, намокший человек обсыхал сам и ещё отработывал. Торф с дальних выработок сваливали на помост, мяти ногами и отжимали станком с длинным рычагом. Тит висел на нём с малых лет. Сперва его подсаживали — веса не хватало; он обнимал рычаг, поджимал ноги,

рычаг медленно шёл вниз, и из-под пресса текла чёрная жижа. Потом веса стало довольно, зато кисти уже не разгибались до конца.

От станка к настилу он носил за спиной по четыре-пять брикетов, связанных рогожей, и считал каждую ходку. Жмых считал вслух; у него всегда выходило меньше.

День шёл заведённым кругом. Тит по колено месил торф: сверху тёплый, в глубине стылый, так что пальцы ног заходились, пока лицо потело. В соседнем чану мяли Ниса и двое старших. Надсмотрщик считал круги и сбивался; Тит держал число про себя и ни разу не терял. Размятый чан шёл к станкам, на его место вставал новый. Потом Тит висел на рычаге, резал вылезший из-под пресса плотный пласт на мерные доли, грузил тачку, носил — и снова лез в чан, до исхода света.

В полдень стряпуха катила от чана к чану котёл. Всем черпала по разу, Жмыху и старшему — по два: так было заведено, и Тит на это не смотрел. Он подставлял половину жестянки с мятым краем, отходил к свае и хлебал мучную заварку с двумя неразличимыми волокнами. Горячее на час обманывало живот. Тит выпивал до дна, выскребал его пальцем, облизывал палец, обтирал жестянку о рогожу и затыкал за пояс. Другой посуды и другой вещи у него не было.

Вечером Жмых садился под навесом с книжицей в засаленной обложке. Читать он не умел, но водил пальцем по собственным крючкам и хмурился, как конторщик Огрызь над реестром. Крючки Жмых сам царапал и сам толковал.

— Недовес, — говорил Жмых и поднимал на Тита глаза поверх книжицы. — Опять за тобой недовес, Брикет. Двенадцать строк недодал.

— Полную меру нанёс, — говорил Тит.

— Полную. — Жмых стучал пальцем по крючкам. — А тут вот не полная. Тут двенадцать строк недодал. С грошей спишем. За место на брикетах спишем — ты на чём спишь? На хозяйском спишь. За науку спишем — кто тебя рычагу учил? Я учил. — Он откидывался и шурился. — Ты думаешь, тебя тут даром на брикетах держат?

Тит знал: мера полная, недовес припишут всё равно. Обижаться было не на что. Из него, как из брикета, уже выжали всё, что поддавалось.

Однажды Жмых пересчитал. Тит за день нанёс сорок ходок — он считал, и пальцы держали счёт: по узлу на рогоже за каждый десяток, всего четыре узла. Жмых сказал: тридцать две. Тит показал узлы. Жмых посмотрел на рогожу, на узлы — и сорвал их, рванул рогожу, и узлов не стало.

— Это что, счёт? — сказал Жмых. — Это верёвка. Счёт у меня. — И постучал по книжице. — В книге тридцать две. Хочешь сорок — впиши сам. Грамотный?

Назавтра Тит тайком завязал узлы снова, но Жмыху больше не показывал. Считал не для спора — для себя. Верёвку можно сорвать; число оставалось в голове, куда Жмых заглянуть не умел.

Жмых обирал не от злобы. Над ним стояли свой счёт, свой страх и строка в чужой книге; всё, чего старшой не мог отдать наверх, он сливал на отжимок, как помой с верхнего плота на нижний. Вода ищет, где ниже, а ниже Тита не было никого. Он стоял под этим, как свая под слизью. Жмых казался ему таким же отжатым, только выше на полплота, и Тит презирал его ровно, без жара.

Над Жмыхом был конторщик Огрызь.

Огрызь не носил брикетов и не мял торфа. Раз в неделю молчаливый гребец привозил его на казённой плоскодонке. Конторщик отряхивал полы кафтана, садился под навесом и раскрывал кожаный реестр. Обкусанным до мяса пальцем вёл по строкам, шевелил губами, макал перо и ставил пометки.



В день Огрызева приезда сушильня стихала. Жмых гонял отжимок мыть помост, ровнять штабеля и прятать битые брикеты, а сам надевал кафтан почище. Конторщика встречал согнувшись, забегая сбоку. Тит таскал мимо стола брикеты и слушал.

— За месяц по сушильне сколько душ? — спрашивал Огрызь, не поднимая глаз от реестра.

— Девятнадцать, конторщик, — говорил Жмых.

— По книге двадцать одна.

— Две убыли, конторщик. Старуха Гурна померла на Покров, и ещё малец, безымянный, в воду сошёл.

Огрызь макнул перо и вычеркнул. Старуха Гурна и безымянный малец, ещё неделю назад таскавший рядом тачку, исчезли одним росчерком. Перо прошло — и нет. Тит понёс брикеты дальше, думая уже не о Гурне и мальце, а о руке: обмакнула, провела — и спрашивать больше не с кого. В книге так, значит, так.

На цепочке у Огрызя висела тяжёлая чёрная печать в кожаном чехле. Однажды он вынул её,дохнул, обтёр рукавом, оглядел на свет и спрятал, не выпуская из ладони. Даже когда пил взвар, держал руку на чехле у сердца, прикрывая, как огонь от ветра.

Тит смотрел на эту печать так, как голодный смотрит на хлеб за чужим окном.

Этой малой чёрной вещью человека делали или не делали. Однажды Огрызь подозревал Тита, ткнул в нечитаемую строку и сказал буднично:

— Тебя ведь, Брикет, по бумаге и нет. Дед твой есть — вот он, вписан, должен за себя и за двор. А тебя нет. — Он провёл ногтем по пустому полю под строкой. — Тебя я могу отписать в Хеммар хоть сейчас, и никто не спросит, куда ты делся. Потому что некого было терять. Был дедов внук, да весь вышел.

Тит молчал. Он смотрел на палец Огрызя, на обкусанный край ногтя, которым тот водил по пустому месту, где Тита не было.

Огрызь подержал палец на пустом поле, будто примеряясь, затем снял с груди чехол, вынул печать и впервые положил перед Титом чёрным боком вверх. Над полем замерло обмакнутое перо. На острие набухла капля, и Тит считал её, как ночную воду в бочке: набухнет, упадёт — и станет он по бумаге. Если Огрызь так поведёт рукой.

— Поднеси-ка печать, — сказал Огрызь тихо, не глядя на Тита, глядя на каплю. — Вон она. Возьми да поднеси к руке. Сам.

До печати было полшага. Она лежала с Титовой стороны стола — протяни и возьми. Полусогнутые пальцы двинулись и замерли. Перо уже обмакнуто, пустое поле под ним, капля набухла. Поднесёт — Огрызь впишет его дедовым внуком, но на какой двор и в какую строку: здешнюю или ту, что ведёт в Хеммар? Тит не знал. Знал только: сам поднёс — сам попросил, а что выпросил, уже не вернётся.

Тит не поднёс. Считал набухшую каплю, держа руку у бока. Огрызь отвёл перо, и чернила упали кляксой на край листа, мимо строки. Конторщик посмотрел сперва на неё, потом на мальчишку.

— Ишь, — сказал Огрызь. И печать убрал. Не в чехол сразу — подержал в кулаке, взвесил, будто решал ещё что-то. Потом упрятал на грудь и опять накрыл ладонью. — Цена строки, Брикет, — поднести. Не поднёс — стой как стоял. По бумаге тебя нет, ну и нет.

Тит смотрел на чёрную печать у чужого сердца, и полусогнутые пальцы сводило от желания. Только брать её следовало не той рукой, которую зовут поднести, а той, что сама будет класть.

Под вечер Тит увидел ещё одно. Огрызь убрал реестр и сел есть. Жмых поднёс варёную рыбу на чистой дощечке, белый хлеб, какого на сушильне не водилось, и остался рядом с жестянкой грошиков в руках. Доимщик ел не торопясь. Когда обтёр рот, Жмых тихо, бочком, поставил деньги на стол, будто и не ставил. Огрызь накрыл жестянку ладонью и смёл её в суму,

не считая. Значит, и он понесёт кому-то выше — как Жмых принёс ему. Снизу вверх шли страх и гроши, сверху вниз — перо; верёвка тянулась от Титовой жестянки кверху, которого не было видно.

А выше Огрызя стоял хозяин. Крам Валь.

Хозяина Тит видел редко и всегда снизу вверх. Валь проходил по помосту в высоких сапогах, каким-то образом не пачкая их, и одним глазом оглядывал чаны, станки, штабеля и людей. Людей — тем же глазом, что станки. Тит был для него вещью по описи: пригодной, пока служит, и брошенной в угол после.

Только раз Валь остановился возле Тита. Постоял, посмотрел, как тот вяжет брикеты в рогожу.

— Этот сколько на станке висит? — спросил он у Жмыха, не глядя на Тита.

— С малых лет, хозяин. Дедов внук.

— Кисти-то, — сказал Валь и посмотрел на Титовы пальцы, как на щербину в рукояти: ещё послужит или пора менять. Потом пошёл дальше. Тит довязал рогожу, запомнив этот взгляд.

В тот наезд Валь привёз невысокого человека в опрятном тёмном платье. Тот держался на полшага позади, ничего не трогал, только мягко обходил станки и беззвучно шевелил губами. Считал станки, людей, штабеля. Жмых перед ним не гнул спины: ещё не знал, стоило ли.

Их счёт сошёлся на одном штабеле. Тит вязал рогожу и держал в уме восемь рядов по девять, недостачу в верхнем — два. Человек остановился по другую сторону и закончил считать одновременно с ним. Они встретились глазами поверх брикетов и оба промолчали: тот не сказал Валью, Тит — Жмыху. Человек едва повёл бровью — ни упрёка, ни угрозы, только отметил: и этот считает, — и первым отвёл глаза. Он считал сверху, для хозяина; Тит — снизу, для себя. После Тит о нём не слышал, но запомнил мягкую походку и тихие цепкие глаза: молчащий счётчик опаснее крикуна.

Но и над Валем был кто-то.

Тит понял это по мелочам. На плотях Валью никто не перечил, Огрызь при нём делался тих и прятал печать глубже под кафтан. Но порой хозяин вдруг настораживался, смотрел сквозь туман в сторону Аргвана, тяжелел лицом и на час замолкал, будто оттуда ложилась тень. Значит, кто-то стоял и над ним — так высоко, что у Тита не хватало чисел.

Ровный счёт тех, кто стоял над ним, давал Титу опору. Свою злость он не делил ни с кем, а чужое тепло обходил, как гнилую доску.

Через два штабеля спала Ниса — младше Тита, тонкая, с обкусанными руками. Она мяла в соседнем чану, таскала тачку и без умолку рассказывала о лодках, чужих словах, бабкиной похлёбке. Ответа не ждала. Однажды всё же спросила:

— Тебя как звать-то? По-настоящему. Не Брикет.

— Брикет, — сказал Тит.

— Это кличка. А настоящее?

Имя у него было: Тит, Безотчий, дедов внук. Он держал его глубоко, не для первой встречи.

— Брикет, — сказал он опять. И Ниса отстала.

Однажды вечером она протянула ему горбушку. Тит съел, глядя то на хлеб, то на Нису, и ничего не сказал; в другой раз отвёл её руку. Брезговать он не брезговал. За хлебом тянулось тепло, а оно сбивало счёт: сегодня горбушка, завтра слово, послезавтра привыкнешь к тому, кто рядом. Потом его отпишут в Хеммар — и останется незатыкаемая дыра.

Ниса обиделась на день, а назавтра снова рассказывала, какая лодка куда ходит и кого на какой свезли. Всё это слышала от бабки; до всего ей было дело.



— А Гурнина родню, слышишь, всю на дальнюю отписали, на Хеммарскую, — говорила она, меся торф и не глядя на Тита. — И мальцов, что при станках были, тоже туда. Которые безымянные. Их первых и свозят, безымянных-то, — за них спросу нет.

Тит месил рядом и поймал нужное: безымянных свозят первыми, значит, и его — когда поведёт рукой Огрызь. Ниса сказала это в туман, сама не зная, что отдала.

Тит не гнал её: пока Ниса говорила, а он молчал, между ними ничего не заводилось. Слова он складывал про запас, тепло пропускал мимо.

## Глава вторая. Нисин день

Туман в то утро стоял ниже обычного, лёг по отметине половодья, там, где сваи обрастают слизью. Помост казался отвязанным плотом, который тихо тонет. Тит считал капли: за счётом не чувствовались руки, с ночи застывшие полусогнутыми, костяшками вверх, будто всё ещё мяли отжимку.

Ниса налетела сбоку, как налетает мелкая вода на сваю — без веса, но не обойдёшь.

— Брикет, Брикет, идём, там под третьим помостом лодка села, досмарская, днищем на кол, я видала, в ней мешок, рогожный, мокрый весь, и весло одно, а второго нету, второе они, видать, упустили, когда садились, идём же, пока Жмых не глянул, идём.

Она тянула его за рукав рукой, которой хватало махать, делить и тащить за собой. Тит помедлил, домерил двадцать восьмую каплю от смены, чтобы число осталось целым, и лишь тогда дал увести себя. Ниса этого не заметила: ей всегда казалось, что она берёт.

Под третьим помостом сидела чужая лёгкая лодка, верховой работы. Такие падали из Досмара в слободу, мимо помоста, никогда обратно. Днище напоролось на сваю, борт накрепился, и вода неторопливо забиралась внутрь, как берут то, что уже твоё.

— Видал? Видал? — Ниса присела у края и заговорила без передышки, словно стоило замолчать — и лодку отнимут. — Это Крамовых, тех, что выше, у них сушильня крытая и брикет в обёртке, не навалом, с рыжей печатью в ноготь. Я ту обёртку видала. Мешок бы достать, да под помостом Дарновы сети. Дарн теперь не ходит, торфом ему всю рожу обожгло, сидит и чинит сети, хоть они никому не нужны. Лишь бы руки занять, а то рукам без дела беда...

Тит смотрел, как вода забирает лодку, и считал. К полудню сядет: нижний плот принимает всё, что выпускает верхний.

— ...а с дальнего плота, с того, что к Хеммару ближе, оттуда вчера Лена свели. Кер который. Старый. Отписали на тот берег.

Внутри у Тита капнуло. Лена он знал — тихого старика, будто выросшего в сваи.

Тит не повернул головы: дёрнешься на нужное слово — выдашь, что оно нужно. Глядя на рыжую воду в лодке, спросил пусто:

— На тот берег — это куда.

— Дура я, что ли. Знаю куда. — Ниса махнула за реку, в туман, где не было видно ни этого берега, ни того, только сухой верховой свет. — Где не возвращаются. Отписали — и весь Лен. Был Кер, нету Кера. Мне его жалко: он раз корку отдал, сам не ел. Зубов всё равно не было, на что ему корка...

Отписали. Тит повертел слово, как вертят узел, проверяя, держит ли. Лена Керовича вычеркнули: перо прошло по букве, и тихий старик, столько лет простоявший на дне, ушёл из счёта, как мокрый мешок под помост. Огрызев росчерк — и человека под строкой нет.

Теперь Тит знал: Огрызев реестр умеет не только прибавлять недовес, но и вычитать человека — к Хеммару или дальше. После той неподнесённой печати в нём лежало решённое: самому встать доимщику на глаза и взять свою строку своей ценой, не той рукой, которую зовут поднести. Завтра, послезавтра — но прийти. Прежде надо было узнать, чем режет этот станок.

— На, — сказала она.

Она уже совала в его полусогнутую кисть половину горбушки. У Нисы всегда что-нибудь находилось за пазухой, будто для любого встречного. Тёмный хлеб отдавал торфом, как всё на слободе, и был тёплым с того бока, которым лежал к телу.

Тит глянул на горбушку и сосчитал её разом, как считал всё.

Получалось два в одном: хлеб, согретый её телом, и весть о Лене. Ниса подала их одной рукой, той самой, которой тянула Тита, делилась и махала за реку, и сама между ними не делила.

И вот тут Тит сделал то, чего сам от себя не ждал.

Он взял весть. А горбушку — нет.

— Не. — Он отвёл кисть, ту самую, полусогнутую, отвёл, будто хлеб жёгся. — Сыт.

Он соврал. С ночи не ел, Жмых зажал пайку, и в животе было пусто, как в бочке между каплями.

Под левыми рёбрами резануло, там, где Тит давно считал сухой камень. Отвести тёплое от живой руки оказалось больнее голода — будто внутри скребли тупым краем его жестянки: не дорезет, только измучит.

Весть была сухой, как число: ходила по дну из уст в уста и никому не принадлежала. Её мог передать Дарн за починкой ненужных сетей, мог бы передать дальше беззубый Лен, если бы успел. Пером такую грамоту не вычеркнешь, потому что нигде она не записана. Её Тит взял. Хлеб отвёл.

— Как хочешь, — сказала Ниса и не обиделась. Она не умела долго держаться на одном, мысль её бежала дальше, как вода. — Тогда я съем, мне Зыбь дала, тётка Зыбь, она всё молчит, а хлеб даёт, странная она... — И уже жевала, и уже опять смотрела на лодку. — Утонет ведь. К полудню утонет.

Ниса подавилась крошкой, сердито плёпнула себя по груди, а когда отпустило — сама же фыркнула.

— Одного весла ей не хватило, — сказала она, отдышавшись. — Было бы второе — не села бы.

— Без людей всё равно не пошла бы.

— Откуда знаешь? Ты лодкой был?

Тит посмотрел на неё. Ниса ждала серьёзно, только хлебная крошка прилипла к подбородку. Угол рта дрогнул. Тит сжал губы и отвернулся к воде. Когда снова посмотрел, лицо было ровным.

— Не был.

— Вот и не спорь. С двумя веслами пошла бы. Только кругами, наверное. Кто ей скажет, где берег?

Ниса показала рукой, как лодка кружила бы вокруг сваи, сама качнулась, едва не села на мокрые доски и снова фыркнула. Потом заговорила о мешке: пустой он или набитый, всплывёт первым или останется в лодке; о потерянном весле, которое, может, уже пристало к чужому плоту и лежит там, будто всегда было. На каждый вопрос у неё находилось по два ответа, и оба она успевала сказать прежде, чем Тит выбрал бы один.

Он молчал. Нису это устраивало: она говорила и за себя, и за лодку, и за весло. Тит не ушёл.

— Всё равно к полудню, — заключила Ниса.

— К полудню, — согласился Тит. Тут они сошлись.

Зыбь молча стояла у крайней сваи и смотрела на них. Тит не разобрал её взгляда и потому отложил, как всякое непонятое число.

Ниса доела хлеб и ушла, уже рассказывая кому-то у чана, как лодка без людей собралась бежать на одном весле. Голос её цеплялся за всех на помосте.

Тит остался у края и достал из-за пазухи свою книжицу — лоскут рогожи с узлами вместо букв. Один завязал за вычеркнутого Лена, второй, потуже, — за то, что доимщиков станок режет в обе стороны и пером можно вычеркнуть. Непослушные пальцы вязали криво, но свои узлы он узнавал на ощупь, по тому, как каждый сидел.

Он вязал спиной к помосту. Сам лоскут не прятал — тряпица с узлами никого не занимала. Прятал число, которое на ней держалось.

Сколько узлов ляжет рядом, прежде чем он дойдёт до Огрызева станка, Тит ещё не знал. Ниса отдала весть и не заметила; Тит знал, что взял. Своё число он не отдал бы ни за эту горбушку, ни за вторую: держал при себе, костяшками вверх, в полусогнутой кисти.

Лодка под помостом черпнула ещё и накренилась круче. Вода забирала своё без спешки; к полудню сядет. Тит завязал третий узел — без причины, наперёд, про запас — и пошёл мять торф, пока Жмых не хватился. От стояния у воды один недовес и выходит.

## Глава третья. Хлеб и слово

Тётка Зыбь жила на крайнем плоту, где слобода уже тонула. За двумя-тремя гнилыми связками брёвен, на которых ничего не держалось, открывалась чёрная широкая Ирма. Плот сидел глубже других, настил всегда был мокрым, под досками хлюпало. Когда-то Зыбь нянчила Тита, пока тот не подрос до рычага. Он знал об этом от других; ни рук её, ни груди, ни тепла не помнил — и долга за памятью не числил.

Она чинила сети и вязала верши — без строки и печати, невидимо для конторы. Скрюченные пальцы сами тянули дратву сквозь ячею; глаза Зыбь держала на воде.

Тит ночевал на её плоту малым. Теперь спал под жестью, на брикетах, а жильё Зыби оставалось для него краем, за которым была только вода.

В тот день недовес списали особенно тяжело. Жмых обошёл настил с реестром, посплюнул палец, поводил им по строке и остановился на Титовой выработке.

— Мало, — сказал он. — Опять мало. Торф рыхлый идёт, воды в нём много, а сухого веса нет. С тебя сегодня нет пайки.

Тит стоял и смотрел на него.

— Чего смотришь, — сказал Жмых. — Строка не закрыта. Пока строка не закрыта, хватит с тебя и кружки взвара. Закроешь — поешь.

Жмых пошёл к другим станкам, слюнил палец, где-то списывал, где-то прибавлял и повторял: строка не закрыта. Впереди кто-то тихо возразил, и голос старшего поднялся теми же словами. Одна на всех строка вечно не сходилась на четверть фунта или горсть — ровно настолько, чтобы зажать пайку. Тит знал это давно, знал и отвечавший впереди, знали все. И всё равно жали рычаг: за незакрытую строку давали хотя бы горячий взвар, а взвар был всё же горячий.

Бурый жидкий взвар пах прелым листом и торфом. Тит выпил кружку стоя; тепло разошлось по пустому животу, скоро ушло, и стало хуже. Он весь день мял, жал рычаг, выкладывал брикеты на просушку, снова шёл к чану. К полудню руки стали чужими, к вечеру внутри звенело, как в пустом станке, когда стенки после отжима сошлись и между ними ничего не осталось. Боли уже не было.

В полдень к чану подошёл Крам Валь — тот самый, грузный, с тяжёлыми руками, что всегда становился у дальнего станка. Он зачерпнул жижи, недолго посмотрел на Тита сбоку и сказал:

— Не дали, что ли.

— Не дали, — сказал Тит.

Крам достал дневную горбушку, неровно переломил и протянул меньшую половину через чан. Тит посмотрел на хлеб, потом на него, но не взял.

— Бери, — сказал Крам. — Я сегодня ел.

— А завтра?

— А завтра — завтра.

Крам подержал горбушку, пожал плечом, сунул её обратно за пазуху и ушёл к своему станку, больше не оглядываясь. Тит решил, что он дурак: отдающий хлеб даром обкрадывает себя и пропадёт. Крам пропадёт. Жалеть его наперёд значило делать то же самое — размякать.

Под вечер Тит сидел на краю сушильного настила, свесив ноги к воде, лицом к плотам Зыби. В чёрной воде плыли отражения верхних огней — в Досмаре жгли газ и сало, окна горели жёлтым. Он считал до семи и начинал снова, занимая голову, чтобы не считать голод. Голод счёту не поддавался; он просто стоял и звенел в животе.

Зыбь подошла так тихо, как ходят по гнилым доскам те, кто знает, какие держат. Под ней не скрипнуло. Тит услышал лишь её короткое старушечье дыхание с хрипотцой над самым

плечом. Старуха молча протянула серый плотный ломоть с отрубями и тёмной коркой, на вид не лучше брикета. От кислого теста и печного дыма пустота в животе сжалась. Зыбь не глядела на него, отвернула лицо к воде, словно просто отвела руку в сторону, а в ней случился хлеб.

Просто так не дают: у всякого подношения есть строка, по которой спросят. Тит перебрал, чем может быть должен старухе, чего она захочет взамен. Ничего ей не обещал, ничего прежде не брал. У него были только злость да артельные руки, уже считанные на Жмыха; печати, числа и силы не было. Значит, ей нужно, чтобы он почувствовал долг, размяк, отрастил мякоть, за которую тянут. Сильный не подаёт — сильный отбирает. Ломоть казался ловушкой, а протянувшая его рука — слабой.

Голод пересилил. Тит вырвал хлеб почти из старушечьих пальцев — как своё, отнятое и наконец возвращённое, — не сказал ни слова и отвернулся к воде. Ел быстро, заслоня ломоть плечом и ладонью, чтобы не отняли. Жёсткая корка, кислый плотный мякиш с песком отрубей были лучшим, что он ел за неделю, и Тит злился на этот вкус.

Старуха всё ещё стояла за спиной, и Тит чувствовал на согнутой спине её долгий тяжёлый взгляд. Он счёл его жалостью, а жалость — вымаркой наперёд: жалеют того, кого уже списали, заранее похоронили. Лучше битьё — оно хотя бы считает тебя живым.

Но Зыбь не ушла ждать отдачи. Она присела рядом, плечо в плечо, лицом к воде, достала из-за пазухи дратву и недовязанную вершу, пустила скрюченные пальцы по ячеям. Будто пришла посидеть на привычном краю, где сидела задолго до Тита. Рука, давшая хлеб, уже занималась своим и больше к нему не тянулась. Старуха ничего с него не ждала, даже не смотрела, как он ест. Тит жевал, поглядывал сбоку и искал строку: цену, будущий спрос, хотя бы ожидание на лице. Перебрал ещё раз — не нашёл ни строки, ни числа. Ловушку он умел читать; дар без строки тревожил сильнее. Тит отвернулся жёстче.

Только раз она сказала тихо, надтреснуто, будто воде:

— Ел бы тише. Захлебнёшься.

Тит не ответил и продолжал жевать, но кусать стал медленнее — и разозлился, что послушался. Зыбь ничего больше не прибавила, однако он вычитал своё: вот уже первое указание, дала хлеб и правит, как его есть. Сперва кусок, потом слово, потом вся жизнь по чужому слову.

Зыбь домотала ряд, оборвала дратву зубами и ушла, не скрипнув доской. Тит доел до крошки, слизал их с ладони и с того места на настиле, куда упали две-три, облизал пальцы один за другим. Твёрдость спрятал внутрь, как нож в голенище: под рукой, но не на виду.

Немного погодя по настилу прошёл Жмых — обходил ряды на ночь, считал спящих, как считают мешки. Он остановился над Титом, посмотрел сверху.

— Поел, гляжу, — сказал он. Видно, заметил, как Тит облизывал пальцы, или учуял на нём кислый дух хлеба. — Откуда хлеб, отжимка. Тебе пайки нет.

Тит поднял на него глаза и сказал ровно:

— С воды поймал. Утря.

Жмых не поверил, но спросу взять было не с чего: безбумажный хлеб безбумажной старухи ни в какую строку не ложился. Он хмыкнул, ткнул сапогом брикет под Титовым боком — крепок ли, сух ли — и ушёл.

Ночью к Титу на брикеты подсел пожилой артельный, жилистый, с провалившимися щеками и одним глазом, глядевшим вбок. Имени Тит не знал, только лицо. Мужик копал на дальнем поле и по ночам долго кашлял торфяной пылью. Он помолчал, послушал, ровно ли дышит спящий поодаль Жмых, наклонился к самому Титову уху и сказал одними губами:

— Завтра Огрызь строки сверяет. На глаза ему не суйся и к станку у воды, где он под навесом, не становись. Держись дальнего края, понял? Ему наверху холку намылили, злой придет, на ком-нибудь сорвёт. На тебе легче — за тебя спросу нет.

Тит лежал не шевелясь, как лежал, и спросил тихо, в темноту:

— Тебе с того что.

Мужик молчал. Дышал со свистом. Потом сказал:

— Брат у меня был. Вот такой же. Безответный. На нём всё и сорвали. — Он опять сглотнул, и в горле щёлкнуло. — Больше не на ком было — вот и на нём.

Ответа он не ждал. Придушил кашель в кулаке и ушёл; у края отхаркнулся и сплюнул в воду.

Рёбра брикетов давили в спину. Тит перебирал сказанное, и слова чернели. Про мёртвого брата вышло слишком складно: проверить нельзя. Кто станет даром предупреждать врага? Значит, это наводка. Его гонят на дальний край, где уже поставлен капкан; или Жмых хочет, чтобы Тит забился в угол, а потом укажет Огрызю на прячущегося: нечистая совесть сама себя выдала. Зверя шумом с одного бока ведут прямо на железо. Раз велят спрятаться, безопаснее выйти на глаза, где видят все и шею не свернут тайком.

Он привык не верить никому. Чужой обман был единственной его верой: если выходило худо, виноват лжец; если хорошо — вера оказалась права. При любом исходе счёт сходился.

За плотами ровно шипела пневмотруба, гоня в Аргван чьи-то реестры в медных гильзах. Шип тянулся долго, не меняя доли. Под него Тит уснул.

Поднялись затемно. Плоский белый туман обрезал сушильный ряд, чаны и настил по пояс; люди ходили без ног, по грудь в молоке. Жмых стучал по жести, сгоняя всех к станкам. Тит умылся холодной чёрной водой, пахнувшей тиной.

У края стоял ночной мужик и смотрел на воду. Он не работал. Здоровый глаз держал Тита, косой уходил в туман. Ни укора, ни надежды — только усталость человека, отдавшего последнее, что мог, одно слово, и увидевшего, что его не взяли. Брата когда-то подняли из этой самой воды; должно быть, потому мужик и стоял здесь каждое утро. Тит встретил его взгляд и отвёл свой — первое за утро движение, которого не сумел себе сосчитать.

Крам Валь, хозяин промысла и сам слободской, стоял у своего чана, как остальные, работы из рук не выпускал. Увидев Тита, коротко мотнул: помнишь ли вчерашний хлеб? Тит виду не подал, но вопрос запомнил. Крам считал, что вчера ошибся; Тит — что нет.

Огрызь приехал, когда туман поднимался. Двое казённых гребцов подвели плоскодонку к настилу, отпихиваясь шестами от топляка, борт стукнул о сваю. Доимщик сошёл сам, не дожидаясь поданной руки, и сразу стало видно: мрачнее обычного. Засаленный чехол печати он мял в кулаке и прикрывал другой ладонью. Пальцы то гладили, то мяли кожу. Под навесом Огрызь разложил реестр на колене; обкусанный до мяса палец быстро и зло побежал по цифрам. Кромка ногтя была тёмной от давней привычки — её кусали по живому снова и снова. Значит, Огрызь и сам кого-то боялся.

Жмых стоял рядом согнувшись, подавал реестры, поддакивал и тыкал вслед за Огрызем на полмгновения позже, будто сам видел ту же провинность. Доимщик называл число, Жмых повторял; при недовесе называл имя, и оно без всплеска ложилось в воду. Артель работала, не поднимая глаз. Каждый ждал своего имени и считал: миновало или легло на него.

От чана Тит видел мятый чехол, злой палец, новую складку у Огрызева рта, согнутого Жмыха и пустой дальний край, куда его посылали ночью. Никто туда не шёл. Все жались к середине, к навесу, на глаза, показывая, что работают. Это стало последним подтверждением: капкан был там, где пусто.

Наперекор ночному шёпоту Тит пошёл к ближайшему от навеса станку, на самые глаза Огрызю. Взялся за рычаг, будто всегда здесь стоял, и принялся мять торф. Холодная жижка лезла сквозь пальцы, пахла гнилью и железом. Тит жал, не отводя глаз, и смотрел исподлобья на человека, у которого печать была, а у него — нет.

Огрызь поднял голову от реестра. С минуту он молча смотрел на Тита, и палец его остановился на строке.

— Ты чего тут встал, — сказал он. Не спросил — сказал. — Тебе тут место указано?

Тит не ответил. Жал рычаг.



— Тебе, отжимке, кто к навесу велел?

И встал. И шагнул. И обкусанный палец его был уже не на строке, а в воздухе — поднятый, нацеленный Титу в грудь.

## Глава четвёртая. Дальний край

Удар пришёл не туда, куда Тит ждал: под рёбра, коротко, без размаха. Огрызь велел бить тихо, не оставляя строки на виду. Синяк под глазом — строка, рассечённая губа — строка; под рёбрами ничего не пишется. Только вышибает дых, и человек складывается, будто сам нагнулся за оброненным.

Спрашивать было некому. Над водой стояло небо без лица, без горла и уха. Под ним Огрызь с чехлом печати в кулаке лишь повёл пальцем, а бил Жмых: свой — своего, чтобы грех делился на двоих и редел, а страх оставался густым между соседями, которым завтра делить плот.

Долг был отцов. Отца Тит не помнил — только строку, пережившую человека. Безотчий он долго считал именем, пока не понял: так зовут того, кто ушёл, не закрыв отчёта. В прошлый приезд Огрызь нашёл Тита на сушильне, вынул круглую потёртую печать с обгрызенным краем и подержал на ладони, чтобы видели. «За тобой числится», — сказал он вместо «плати» и ушёл. Долг мог стоять ещё годы, но на Огрызя пролилась течь, а Тит сам вышел ему на глаза, под самый навес. Готовую отцову строку взыскали телом, Жмыховой рукой: чего не нашлось монетой.

Тит не закрывался: тогда бьют дольше, ищут дно, ждут стоны, согнутой спины, просьбы. Своего дна он не показывал. Принимал удары телом, брикет за брикетом, и держался на самых глазах у слободы. Пусть вписывают в память, раз в книгу нельзя.

Жмых бил тупо и ровно, наваливаясь плечом, от живота. Под ладонью хрустнуло Титово ребро, и старшой вздрогнул сильнее самого Тита. От него несло рассолом, луком и давней сельдью — так пахло от всей слободы, где рассолом лечились и сводили цингу. Жмых сопел этим кислым дыханием и косился на навес, на Огрызя, на чехол.

— Будет, — сказал Жмых не Титу, а себе. И опустил руку.

С опущенной рукой Жмых простоял дольше, чем следовало, переступая с ноги на ногу. От навеса не пришло ни «хватит», ни «ещё», а праздно стоящий при битье сам оказывался в полушаге от должника. Старшой глянул на серую воду, будто там можно было найти середину и не оступиться ни в одну сторону. Вода середины не держала. Он снова поднял руку: так было легче, чем не поднять.

Ударил вполсилы. Сильно — спросят, кто дал право; слабо — не свояк ли должнику. Жмых искал силу удара, за которую никто не спросит, и той же рукой бил в себе то, что ещё не хотело бить. С каждым разом нужная мера находилась легче. Его доили заодно с Титом: Тит платил ребром, Жмых — тем, что завтра сможет поднять руку охотнее. За это Тит презирал его сухо и холодно.

— Ты, Брикет, не обижайся, — сказал Жмых между двумя ударами, тихо, чтобы не донеслось до навеса. — Не я ведь.

На «не я» ответить было нечего. Здесь все были «не я»: за Жмыхом стоял Огрызь, за ним контора и Аргван, дальше — небо без лица.

Народ собирался понемногу. Ренк, ближний сосед по настилу, выглянул из своей дыры, пожевал губами и скрылся: у него был свой долг и своя очередь, чужую беду смотреть не с руки. Бабы от мостков встали поодаль с верёвками в руках. Полоскать перестали, но работу не выпустили. Праздного могли вписать свидетелем, а со свидетеля тоже спрашивали, поэтому они полоскали пустое и выбирали уже выбранную верёвку, глядя сквозь дело, как сквозь щель.

Под Жмыховым кулаком Тит собирал взгляды. Дёгтя, смоливший слободские лодки, смотрел сыто: били не его. С краю стоял мальчонка Нисиного возраста и не мигал. Между ударами они встретились глазами. Ребёнок смотрел прямо, потому что ему ещё не сказали, куда смотреть нельзя. Мальчонка моргнул первым и отвёл глаза.

Жмых ударил ещё. И ещё. От навеса донёлся голос Огрызя — ровный, без злобы, скучающий, как у писаря, что читает чужую опись:

— Ты ему ребро не ломи. Калеку мне не надо. С калеки что взять.

Деловитость была хуже брани. Огрызь берёт его, как скотину перед ножом, чтобы не подохла раньше срока и ещё дала. Тита не наказывали — доили. Били в счёт, тело шло вместо монеты, потому что строка не могла стоять пустой. От этого в Тите поднималось холодное, ещё без имени.

Его оставили, как перестают качать насос, когда бочка полна. Жмых отступил, тряся рукой, будто били его. Тит лежал щекой в холодной торфяной жиже, пахнувшей погребом и прелым листом, и слушал сапоги: сперва тяжёлые Огрызевы, с ленивым присвистом подошв, потом частые, виноватые Жмыховы. Эту виноватость он отложил: виноват — значит боится; боится — значит слаб, только печать у него над собой.

У головы Тита сапоги остановились. Скрипнул кожаный чехол: Огрызь прятал печать, прихватив горловину ладонью. Тит не поднял глаз, смотрел в доску, в чёрную щель между досками, где внизу плескала вода.

— До новолунья, — сказал Огрызь сверху. — К новолунью либо монетой, либо опять придём. Ты считать умеешь, я знаю. Брикет-то считаешь. Вот и долг сосчитай.

И добавил, уже отходя, не Титу — а так, в воздух, под небо без лица:

— Отцов долг — он не твой. А спросят с тебя. Так уж заведено. Не я его заводил.

И этот — «не я». Тит слушал удаляющийся присвист подошв. Он не брал отцова долга и не помнил отца, но платил ребром. Где-то стояла строка с именем, отданным ему, как худой кафтан с чужого плеча: не он надел, а снять нельзя.

С навеса капало, в слободе скрипел ворот — кто-то тянул плот к плоту. На дальней пристани тренькнула конка, прошедшая поверху, по твёрдой Вельмаре, которая ничего не знала о нижней воде. Чужой звук пришёл сверху и ушёл. Тит слушал, как стихает свистящее эхо удара. Ребро при каждом вдохе проверяло себя: цело, только болит. Эту боль он снесёт. И следующую.

После Огрызя бабы разошлись по одной, чтобы не вышло, будто сговорились. Старуха Кулёма первой исподтишка перекрестила Тита и спрятала руку в рукав; за ней ушли остальные. Полосканье снова стало полосканием, верёвка — верёвкой. Помнить было опасно — с помнящего спрашивали.

Над ним наклонилась тётка Зыбь.

Зыбь ступала мягко, как тот, кто весь век прожил на воде и тверди не доверяет: пробовала доску прежде, чем перенести вес. Присела, хрустнув коленями; от неё пахло холодным взваром и вечно мокрой шерстью, превшей на плечах круглый год. Ничего не сказала, только протянула руку, чтобы поднять.

Тёмные пальцы не разгибались — их скрючило вёслами, верёвкой, стиркой в ледяной воде. Когда-нибудь такие будут и у него, если доживёт. Ладонь висела над ним открытой, кверху.

И тело Тита потянулось к ней.

Раньше счёта Титова рука дрогнула и поползла по доске, локоть подобрался под бок. Тело помнило то, чего голова знать не хотела: рука сверху — твердь, за неё можно подняться. Оно устало быть отжатым брикетом, хотело, чтобы его подняли, чтобы было за что держаться, кроме себя. Ещё вершок — пальцы легли бы в старухины.

Тит поймал это движение, как ловят оступившуюся ногу над щелью, и сломал в себе то, что тянулось к ладони, — коротко, как сухую лучину о колено. Внутри хрустнуло большее ребра: то ломали чужой рукой, это — своей. Он отвёл старухину руку плечом, упёрся ладонью в доску; пальцы ушли в холодную слизь по второй сустав. Поднялся сам, медленно, всем отжатым телом. Оно весило одной болью, но эта боль принадлежала его выбору.

Ему не простилося, что его сочли неспособным встать без чужой ладони. В старухиной доброте он увидел наклон сверху вниз: кто может поднять, тот может и оставить лежать.

Зыбь не обиделась. Спокойно опустила руку и осталась на корточках, глядя снизу выцветшими глазами. В них не было ни укора, ни ожидания, только усталое знание, которого Тит не имел. Она смотрела на него, как на поднимающуюся воду, которую поздно бояться и рано надеяться остановить.

— Встал, — сказала она.

— Ну, стой.

Доски качнула далёкая волна — от лодки или верховой баржи. Зыбь переждала её, как переждала всё на воде, и заговорила не к Титу, а в сторону реки, будто продолжала давний разговор:

— Я твоего деда вот так же выхаживала, — сказала она. — На этом плоту. Только тогда под навесом стоял другой, не Огрызь. Тогда был Пелл. Тоже с печатью. Печать одна, а люди под ней сменяются. Деда твоего я поднимала. Он руку взял.

Замолчала. Пожевала пустым ртом, вспоминая.

— Взял руку — и помер через зиму. А ты не взял. — Она глянула на него снизу. — Может, и дольше проходишь.

Дед и отец были для Тита пустыми словами, чужими именами из строки; он их не помнил и помнить не хотел. Но старухин счёт — взял руку, помер; не взял, ходишь — лёг в нём ровно, как верный брикет в кладке. Это была не ласка, а счёт, а счёту он верил.

Она сунула ему ломоть.

Хлеб был тёмный, тяжёлый, с торфяной горчинкой. Корка отсырела по краю, мякиш был плотным, как глина.

Он взял. Носить голод ровно — одно, отказываться от хлеба — уже дурь, а дури Тит себе не позволял. Жевал медленно, глядя поверх старухиной головы на пустой навес; корка скрипела на зубах песком. И всё же видел в ломте ту же руку сверху, только теперь с хлебом. Привыкнешь брать — сперва хлеб, потом строку, потом долг, и не заметишь, как тебя внесли.

— Чего глядишь, — не спросила, а сказала Зыбь. — Думаешь, и за хлеб с тебя спросится?

Тит не ответил, но Зыбь прочла его закрытое лицо.

— Спросится, — сказала она просто, не утешая. — Всё спросится. С того и живём. Только спрос спросу рознь. Один спрашивает, чтобы забрать. Другой — чтобы отдать. Ты их пока путаешь.

Подобрала со своего колена крошку, отправила в рот — не пропадать же. На слободе и крошка была счётом.

— Огрызь ребро взял в счёт долга. А я хлеб дала в счёт чего? Ни в счёт чего. Вот этого ты не можешь снести. Был бы счёт — отдал и чист. А тут нечем отдавать, ходишь должен тому, кто ничего не спросит. Это тяжелее Огрызева долга. До смерти.

Её слова легли боком, как плохо уложенный брикет, и торчали. Тит не умел их ни принять, ни сбросить, поэтому отложил рядом с виноватым Жмыховым шагом, мальчонкиным взглядом и собственным внутренним хрустом, когда ломал себя об руку. После сочтёт.

— Чего ж тогда даёшь? — Голос вышел сиплым, отбитым. — Раз ни в счёт. Себе в убыток.

Старуха пожевала пустым ртом, глядя на дальние навесы, под которыми тоже кого-нибудь били.

— Я старая. Мне счёт скоро закрывать. Хочу закрыть не в долгу. — Она поднялась, придерживаясь за край плота. — Ешь да помни, кто кормит. Помни.

Она пошла к своему краю, мягко пробуя доски. Тит смотрел ей вслед и не верил: вот и старуха хочет, чтобы её помнили в строке, где должник стоит ниже давшего. Он услышал: помни, кому должен. Но «помни, кто кормит» легло боком, не туда, куда он его клал, и осталось торчать — в словах было что-то ещё, пока нечитаемое.

Тит доел корку и облизал пальцы, чтобы не пропало. У своей дыры Зыбь выбрала из воды пустую вершу, осмотрела и опустила обратно. Жизнь её пошла дальше своим скрипом, старуха не обернулась. От этого Титу стало ровнее: кто не оборачивается, тот будто не ждёт отдачи. Может, и ждёт, да виду не подаёт. Сосчитать он не умел.

Тит остался один на дальнем краю, где вода уже не держала, а ждала. Доска под ногами ходила вверх-вниз, дышала. За спиной слобода жила своим скрипом, капелью и насосами; впереди плоская серая вода тянулась до Аргвана, к верхней Вельмаре, где у людей были печати, строки и горло, чтобы спрашивать.

Тит глядел туда, ел чужой хлеб и не верил ему ни на крошку. Неверие он берёт вместе со злостью, грел на них руки и тянул из них, чем жить. Пока они держали крепче чужой ладони.

## Глава пятая. Имя

Беда на слободе никогда не приходила сама по себе, своим лицом. Она приходила чужим именем.

Тит заметил это раньше, чем сумел бы выговорить. Огрызю для угрозы самого себя было мало, и он это знал; всякий раз звал чужого, высшего, которого на плотях никто не видел, но за чьим именем будто лежал невидимый ров.

Туман сел низко, доски покрылись испариной. Из болотной ямы шёл холодный рыхлый торф, пахнувший гнилью и студёной водой; Тит этого запаха давно не различал.

Огрызь прошёл по сходням, постукивая носком по доскам, будто проверял, где прогнило. У Жмыхова плота присел передохнуть и положил ладонь на полную, с верхом, бадью. Тит из-под рычага видел, как доимщик оглянулся в туман и качнул её к себе на один палец. Чёрная жижа два-три раза перелилась через губу и неслышно ушла в щель. Бадья встала ровно, с виду полная, но весу ubyло. Чужая рука влила Жмыху недoves.

Огрызь поднялся, отряхнул колени и пошёл прочь, будто и не подходил. У третьего плота он остановился, обернулся.

— У Жмыха недoves, — сказал он громко, чтобы слышали. — Это не я.

И только потом указал на Тита пальцем. Палец был жёлтый, кривой.

— Ты думаешь, это я тебя гоняю? Мне на тебя плевать, отжимка. Жмыхов недoves на тебе повиснет: с кого Жмыху добрать, как не с того, кто под ним. Это Перо так велит. Тому, в Досмаре, недoves твой не uгоден.

Все втянули головы, даже Жмых, честно наполнивший бадью и ещё не знавший, чем недодал. Старуха на дальнем плоту тоже втянула. Руки стихли, капель с навеса застучала громче. Перо. То, в Досмаре. Имя прошло над слободой холодной тенью, у которой не было тела, — не увернёшься и не схватишь.

Тит жадно слушал имя, в котором была сила, как голодный слушает шаги у двери. Никто на плотях не знал, кто это. Рука Огрызя качнула бадью и указала на Жмыха, но беде дали третье, далёкое имя. Счёт сошёл: бадья недолита, виноват нижний, велено сверху.

У дальнего плота Огрызь остановил тощего водоноса с коромыслом: бадьи мелкие, значит недолив, а недолив Перу не uгоден. Водонос поставил ношу, долил из болотной ямы, хотя там вода была грязнее, и поклонился. Огрызь смотрел на поклон с большим удовольствием, чем на воду.

Всякий раз, когда Огрызь поминал Перо, ему прибывал долив или поклон, а Жмыху убывал палец весу. Брал доимщик, имя ставил чужое.

Тит спросил у Жмыха в тот же день, после, когда всё стихло, — спросил тихо, чтобы никто не заметил, что он спрашивает.

— Перо — это кто?

Жмых не поднял глаз. Он перебирал тряпьё в углу: что-то прятал, что-то доставал. Пальцы у него были в торфе до самой кости.

— Не кто, — сказал Жмых. — Не «кто». Перо и есть.

— Человек?

— Тьфу. — Жмых сплюнул на доски и растёр плевков ногой. — Сиди молчи. Меньше будешь знать — дольше продержишься.

Жмых больше ничего не сказал. Произнёс это как правду о холодной воде, в которой тонут и о которой не спрашивают. Тит отступил, унося имя.

Потом Тит подсел к древней старухе, месившей торф голыми негнущимися руками. На плотях она знала всё прежнее. Он дождался, когда она сядет есть, и, чтобы развязать ей язык, отдал краешек своей корки — не всю. Старуха пожевала беззубым ртом.

— Перо, — сказала она и посмотрела на холм. — Я молодая была — оно уже было. Мать моя померла — оно было. Оно всех нас переписало. И тебя впишет, когда срок придёт. И вычеркнет.

— А видел его кто-нибудь?

Старуха засмеялась беззвучно, одними дёснами.

— Кто Перо видел, тот вниз уже не спускается. Туда уходят. Оттуда — нет.

Старуха беззвучно посмеялась дёснами, потом отвернулась и доела молча. Больше из неё ничего не вытянуть. Тит запомнил: увидевший Перо не спускается. Значит, наверху кто-то оставался и было куда влезть.

Перо жило на сухом холме, куда не доходила вода, и никогда не спускалось. У него не было сапог, чтобы ходить по доскам, кулака, чтобы бить, даже горла, чтобы крикнуть. Только имя. И его хватало, чтобы Огрызь смелел, Жмых слушался, а слобода стихала.

Тит вертел имя, не находя дна, как не находил его в небе, когда после работы лежал на спине. Огрызь грозил Пером, Жмых приговаривал «не я», хозяин Валь, сам стоявший у чана, смотрел на Досмар и говорил: «велено». За каждым стоял следующий, а на холме, за туманом, — ещё чьё-то «велено», и так до высоты, где, может быть, уже никого не осталось. Одно безличное слово скрипело само, как сухое дерево. От него люди делались должными, уходили в Хеммар, тонули слободы.

У давившей его силы не было горла. Будь оно — Тит знал бы, что делать: выследил бы, подкрался к нему, как к крысе у болотной ямы, ударил без замаха. Вот враг, вот горло, вот кол. Но Огрызь отвечал перед другим, тот — перед следующим; кого ни возьми, каждый сам был бит сверху и передавал удар вниз по цепи, к тому, у кого под ногами одна вода.

Ниже всех стоял он.

В тот же день Жмых отнял у Тита половину пайка за недовес. Под глазом старшего наливался синяк, собственный хлеб был не доеден: его тоже обобрали, и он передал дальше. Тит взял обкусанный кусок, сел у воды, свесил ноги и медленно ел, считая: над ним Жмых, над Жмыхом Огрызь, над Огрызем Валь, над Валем холм. Цепь уходила вверх кольцо за кольцом, и каждое всем весом тянуло нижнее. Последнее лежало на воде — на Тите.

К плоту тихо, бочком, подошёл новенький мальчонка, меньше Тита, готовый отскочить от чужой еды. Его привезли на той неделе. Своей корки у новых первые дни не бывало, пока не внесут в счёт. Он встал поодаль и смотрел на хлеб; на тонкой шее вверх-вниз ходил кадык.

Корки хватало на два укуса. Один Тит долго размачивал во рту, чтобы продлить. Последний кусок, с ноготь, рука без спросу повела на полпальца к мальчонке — отломить. Движение было нижним, привычным.

И тут Тит остановил руку.

Остановив руку, Тит понял почему. Под ним теперь кто-то есть — тощий, со сглатывающим кадыком, ждёт поодаль. Отдаст корку, и завтра снова останется нижним кольцом над водой: Жмых обдерёт, а передать удар будет некому.

Тит медленно доел при нём, последний кусок не глотал сразу, не отводил глаз. Мальчонка смотрел, как ходит его челюсть. Титу не стало ни стыдно, ни сладко — только понятно: он тоже стоял в цепи и уже не на самом дне. Под ним был тот, кто смотрел вверх на него, как он сам — на холм.

Поняв это, Тит не сделался смирнее. Он сделался жаднее.

У силы нет горла — задушить её нельзя. Её можно только взять. Влезть на цепь и идти вверх, кольцо за кольцом, отнимая у каждого то, чем он давит, пока негнушаяся рука не возьмёт само Перо, скрипящее на сухой высоте. Тогда уже не его станут вписывать. Вписывать будет он.

Имя стояло над слободой весь день, и работали под ним тише. У дальнего ряда хрипела пневмотруба, гнала рассол; пар поднимался в туман и терялся, не доходя до холма. Тит жал

тяжёлый рычаг, чёрная труха въедалась в трещины ладоней и уже не отмывалась, а он думал о невидимом имени, как голодный о хлебе.

В обед с холма впервые на Титовой памяти спустился писарь — не Перо, человек Пера. Маленький, в сухом плаще, с дощечкой и грифелем, он ступал по доскам бочком, чтобы не зачерпнуть, и берёг сапоги. За ним шёл сгорбленный Валь, держа шапку и кланяясь, как слободская баба под навесом. Хозяин — и тот кланялся.

Писарь не смотрел на людей, только в дощечку: вместо лица — склонённое темя да белая рука. Таких рук на плотях не было. Здесь они чернели торфом до кости, трескались и ходили полусогнутыми; у писаря все тонкие пальцы разгибались и легко держали грифель за один конец. Они не мяли, не отжимали, не таскали — лишь ходили по дощечке, а на лице Валя выступал пот и поклон становился ниже.

Тит не сводил глаз с белой руки. Не Перо — его палец: тонкий, сапоги бережёт, на досках стоит криво; оступится, булькнет и не выплывет, а весь плот перед ним согнут. У бестелесного имени нашлось маленькое тело в сухом плаще, у тела — рука с грифелем. Тит смотрел на неё с тем же голодом, с каким мальчонка глядел на корку, и считал, каким кольцом и с какого боку добаться.

Писарь поскрипел грифелем, что-то переписал, получил Валева поклон и ушёл к холму, по-прежнему бочком оберегая сапоги. Вода под плотом осталась такой же чёрной, слободе он будто ничего не сделал. Но Валь после этого три дня ходил злой и драл с людей вдвое. Белая рука легко скрипнула наверху — тяжёлая боль дошла вниз.

К вечеру туман не сошёл. Огрызь ушёл по сходням в сухую сторону, к холму; спину его ещё долго было видно, пока белизна не съела её. Тит запоминал не лицо, а направление — туда уходили, оттуда было «велено».

Вода под плотом стояла чёрная и тихая. Тит доел корку, облизал пальцы, посмотрел вниз, в эту воду, и не увидел в ней дна. Как в имени.



## Глава шестая. Печать

У Огрызя на груди висела печать.

Тяжёлая, казённая, в потёртом до блеска кожаном чехле на короткой цепочке, уходившей под мундир. Тит заметил её, ещё когда едва доставал Огрызю до пояса, и с тех пор следил за ней при каждом приезде. Конторские плоты приходили по вторникам по бурой торфяной воде с радужной плёнкой солянки. Над дальним берегом дымили пневмотрубы Досмара; пар стоял до солнца. Огрызь приставал к слободе, и люди сходились к плоту, как мошка на огонь.

В тот вторник плот запоздал. Вода дошла до второго ряда свай, под старой отметиной половодья висела слизь. Слобода ждала на мокром берегу с раннего утра: никто не работал, пока Огрызь не спишет товар и не примет недоимку. У самой воды Жмых считал сгруженные брикеты, тыча в каждый чёрным от торфа пальцем, сбивался после двух десятков и начинал снова.

— Сорок и три, — сказал он наконец и вытер нос рукавом.

Огрызь не поднял головы. Перо стояло в склянке, склянка — в гнезде, чехол лежал под локтем.

— Сорок и один, — сказал он. — Две я списал. Сырые.

— Не сырые, — сказал Жмых себе под нос. Но вода над торфом донесла.

Огрызь положил перо, накрыл чехол ладонью, подавшись над ним всем телом, и поглядел на Жмыха без гнева, с одной арифметикой.

— Сырые, — сказал он. — Так в реестре. А реестр тут я.

Жмых открыл рот и закрыл. Кулак был бы понятнее, но над ним стояла строка, а со строкой не спорят — она не слышит. Он отступил; плот качнулся, бурая вода плеснула в стоптанные башмаки.

По колено в выжатом торфе Тит мял брикет в формовке и видел всё. Две штуки Огрызь отнял движением пера, не подняв на Жмыха глаз. Кулаком пришлось бы драться; строка стерпела, Жмых стерпел, вода стерпела. Под строкой лежала печать, и до отплытия Тит смотрел на неё.

Зыбь ждала за Жмыхом с глиняным горшком в руках. В нём лежало то, чем платят, когда платить нечем: связка сушёной рыбы, мелкой, в палец, медный крестик и три яйца. С прошлого плота недоимка выросла вдвое сама, без её участия, как вода.

— Подходи, — сказал Огрызь, не глядя.

Зыбь поставила горшок на край. Огрызь заглянул в него, затем в реестр и повёл пером вдоль строки.

— Зыбь, — сказала она. — Вдовья доля. За мужа.

— Мужа нет, — сказал Огрызь. — Мужа списали в прошлом году. А доля осталась. Доля на дворе, а двор стоит.

— Двор стоит, — повторила Зыбь. Она не спорила. Она говорила то же, что он, своими словами, как говорят, когда соглашаться нечем, а молчать нельзя. — Двор стоит, а двора нет. Рыба тут. Крестик тут.

— Крестик медный. — Огрызь его не взял. Обмакнул перо и поставил короткий знак. Зыбь не умела прочесть, но и она, и Тит знали: знак тяжелее горшка. — Недобор. Снесёшь на тот плот. Не снесёшь — двор отпишем.

Зыбь взяла горшок, оставила рыбу и крестик, а яйца прижала к груди: их ели, строка яиц не ела. Она отошла, согнутая вдвое; на её место встал следующий. Перо коснулось бумаги — и двор исчез, хотя стоял. Мягкая Огрызева рука, не знавшая формовки, сделала то, чего не смог бы кулак.

Кулак убивал одного — это Тит знал по рёбрам. Печать могла больше: один оттиск на сургуче делал строку законом. Ляжет там, где стоит имя, — человек должник; где имени нет, — не было и человека, словно не родился. Она не спрашивала, сильный перед ней или слабый, правый или виноватый, и, в отличие от кулака, не уставала.

Тит захотел её тлеющей, негаснувшей жадой, сильнее хлеба, тепла и воли, которую не умел представить. Печать представлялась ясно: лежит в нестигающихся пальцах, его рукой превращает строку в закон, делает другого должником. Тогда он уже не отжимка со склада, а тот, кто сам вписывает себя живым.

Огрызь держал чехол крепко, как держат то, с чем бояться расстаться. Тит прочёл этот страх по-своему: Печать можно отнять, иначе над ней не дрожали бы. Над тем, чего нельзя потерять, так не трясутся. Он смотрел снизу, как с низкой воды на огонь в сухом верхнем окне.

Огрызь поймал его взгляд.

Тит забылся, прилип взглядом к чехлу. Огрызь поднял голову и наткнулся на этот взгляд, как на твёрдое в мутной воде.

— Что глядишь, — сказал он. И накрыл чехол ладонью, всем телом подавшись над ним. — Не про твою честь. Тебе такого не носить, безотчий. Тебе её и в руках не подержать.

В голосе не было насмешки — лишь поспешность, с какой отдёргивают ребёнка от края, за который отвечают головой. Недостачу двух брикетов станут искать выше и спросят с руки, водившей пером; над тем, кто спросит, стоит ещё чья-то Печать, и так до невидимого верха. Огрызь дрожал над чехлом ещё и потому, что сам был под ним сочтён и вписан, такой же породы, что Жмых. Тит этого не увидел. Он видел руку на коже.

Поспешность Тит принял за жадность. Боятся, что отнимут, — значит, отнять можно. Эту радость он не показал.

— Гляжу, куда положил, — ответил за Тита Жмых с плота, думая выгородить мальчишку, и засмеялся через силу. — Он дурной, Огрызь. Он на воду глядит, на блеск.

— Дурной, — согласился Огрызь и отвернулся, и на том кончил. — Все вы тут дурные. Потому и тут.

Огрызь списал ещё два брикета сырыми — уже без счёта, чтобы вышло по его. Жмых и Тит смолчали. Плот отчалил, дальний пар к полудню сгорел.

Когда вода спадала, Жмых сел рядом с Титом у формовки и долго выковыривал щепкой торф из-под ногтя. Потом сказал:

— Ты на чехол не гляди.

Тит не ответил. Он мял брикет.

— Я видал таких, — сказал Жмых. — Кто на чехол глядит. Их потом в реестре нет. — Он сплюнул в воду. — Печать не для нас отлита, Брикет. Она нас считает. А считаемое само себя не считает.

Для Жмыха это было длинно, и Тит на миг поднял глаза. Старшой смотрел через воду туда, где сгорел пар, будто видел не берег, а что-то своё, давнее, чего мальчишке не показывал. Рука со щепкой на мгновение отяжелела, удержав невысказанное.

— А кто её носит, — сказал Тит, — тот сам себя вписал?

Жмых обернулся быстро: при нём вслух сказали то, чего не говорят.

— Тот, кому дали, — сказал он. — Сверху дали. С Печатью не родятся, её надевают. А кто наденет не своё — того она и сожрёт первым. — Он встал и отряхнул зад от торфяной крошки. — Ешь да спи. Завтра торф.

Тит остался с брикетом. Тяжелее прочего легло слово «надевают». Значит, Печать можно и снять.

К вечеру слобода разошлась спать по баракам. Тит лёг на ещё тёплые после формовки брикеты, где спал всегда. Под рёбрами они пахли торфом и тиной. С прогнившего ската ровно капало — кап да кап, отбивая долю, как конка наверху, в недоступном Досмаре.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.